

Белла АХМАДУЛИНА

**СОЗЕРЦАНИЕ
СТЕКЛЯННОГО
ШАРИКА**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХС VII**



Закат дымами шевелит.
Стареет год, вчера лишь новей.
Над фабрикой „Бальневик“
висит румянец нездоровый.

Укорит кирпичной храм сладостей,
пресотлив роты, намазав щеки
детей, чай диатез влобит
в красу фальги, в уклады ёлки.

Где видна примерная труба
и всех ментальность, и кинорода -
соперник, неслучко, губы,
подтапливает пешехода.

Но лодит он, какой ни есть,
свой праздник. Все неповторимо:
он сам, хотя он слегка не трезв,
и фабрики урюковой и мя,
и весь район, где Фабрика в честь
зовётся улица ириво.

Гелла Владимировна

Белла АХМАДУЛИНА

СОЗЕРЦАНИЕ
СТЕКЛЯННОГО
ШАРИКА

Н О В Ы Е
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПУШКИНСКИЙ ФОНД
МСМХС VII

A 95

ББК 84. Р7

Составители

Б. А. Мессерер

О. П. Грушников

Марка издательства работы

Сергея Семенова

ISBN 5-85767-107-8

© Б. Ахмадулина, 1997.

ПОЕЗДКА В ГОРОД

Борису Мессереру

Я собиралась в город ехать,
но все вперялись глаз и лоб
в окно, где увяданья ветхость
само сюжет и переплет.

О чем шуршит интрига блеска?
Каким обречь ее словам?
На пальцы пав пыльцой обреза,
что держит взаперти сафьян?

Мне в город надобно, — но втуне,
за краем книги золотым,
вникаю в листовенной латуни
непостижимую латынь.

Окна усидчивый читатель,
слежу вокабул письменна,
но сёрдца брат и обитатель
торопит и зовет меня.

Там — дом-артист нескладно статен
и переулков приворот
издревле славит Хлеб и Скатерть
по усмотренью Поваров.

Возлюблен мной и зарифмован,
знать резвость грубую ленив,
союз мольберта с граммофоном
надменно непоколебим.

При нем крамольно чистых пиршеств
не по усам струился мед...
...Сад сам себя творит и пишет,
извне отринув натюрморт.

Сочтет ли сад природой мертвой,
снаружи заглянув в стекло,
собрание ружляди аморфной
и нерадивое стило?

Поеду, право. Пушкин милый,
все Ты, все жар Твоих чернил!
Опять красу поры унылой
Ты самовластно учинил.

Пока никчемному поселку
даруешь злато и багрец,
что к Твоему добавит слову
тетради узник и беглец?

Вот разве что: у нас в селенье,
хоть улицы весьма важней,
проулок имени Сирени
перечит именам вождей.

Мы — из Мичуринца, где листья
в дым обращает садовод.
Нам Переделкино — столица.
Там — ярче и хмельней народ.

О недороде огорода
пекутся честные сердца.
Мне не страшна запретность входа:
собачья стража — мне сестра.

За это прозвищем «не наши»
я не была уязвлена.
Сметливо-кротко, не однажды
я в их владения звана.

День осени не сродствен злобе.
Вотще охоч до перемен
рожденный в городе Козлове
таинственный эксперимент.

Люблю: с оградой бодаясь,
привет козы меня узнал.
Ба! Я же в город собиралась!
Придвинься, Киевский вокзал!

Ни с места он... Строптив и бурен
талант козы — коз помню всех.
Как пахнет яблоком! Как Бунин
«прелестную козу» воспел.

Но я — на станцию, я — мимо
угодий, пасек, погребов.
Жаль, электричка отменима,
что вольной ей до поваров?

Парижский поезд мимолетный,
гнушаясь мною, здраво прав,
оставшись россыпью мелодий
в уме, вспомнившем Пиаф.

Что ум еще в себе имеет?
Я в город ехать собралась.
С пейзажа, что уже темнеет,
мой натюрморт не сводит глаз.

Сосед мой, он отторгнут мною.
Я саду льщу, я к саду льну.
Скользит октябрь, гоним зимою,
румяный, по младому льду.

Опомнилась руки повадка.
Зрачок устал в дозоре лба.
Та, что должна быть глуповата,
пусть будет, если не глупа.

Луны усилилось значенье
в окне, в окраине угла.
Ловлю луча пересечение
со струйкой дыма и ума,

пославшего из недр затылка
благожелательный пунктир.
Растратчик: детская копилка —
все получил, за что платил.

Спит садовод. Корпит ботаник,
влеком Сиреневым Вождем.
А сердца брат и обитатель
взглянул в окно и в дверь вошел.

Душа — надземно, надоконно —
примерилась пребыть не здесь,
отведав воли и покоя,
чья сумма — счастье и есть.

Ночь на 27 октября 1996

19 ОКТЯБРЯ 1996 ГОДА

Осенний день, особый день —
былого дня неточный слепок.
Разор дерев, раздор людей
так ярки, словно напоследок.

Опальный Пасынок аллея,
на площадь сосланный Страстную, —
суров. Вблизи — молодой атлет
вкушает вывеску съестную.

Живая проголодь права.
Книгочий изнурен тоскою.
Я неприкаянно брела,
бульвару подчинясь Тверскому.

Гостинцем выпечки летел
лист, павший с клена, с жара-пыла.
Не восхвалить ли мой Лицей?
В нем столько молодости было!

Останется сей храм наук,
наполненный гурьбой задорной,
из страшных герценовских мук
последнею и смехотворной.

Здесь неокрепшие умы
такой воспитывал Куницын,
что пасмурный румянец мглы
льнул метой оспы к юным лицам.

Предсмертный огонь окна светил,
и Переделкинский изгнанник
простил ученикам своим
измены роковой экзамен.

Где мальчик, чей триумф-провал
услужливо в погибель вырос?
Такую подлость затевал,
а малости вина — не вынес.

Совпали мы во дне земном,
одной питаемые кашей,
одним питаемые злом,
чье лакомство снесет не каждый.

Поверженный в забитый прах,
Сибири свежий уроженец,
ты простодушной жертвой пал
чужих веленьиц и решеньиц.

Прости меня, за то прости,
что уцелела я невольно,
что я весьма или почти
жива и пред тобой виновна.

Наставник вздоров и забав —
ухмылка пасти нездоровой,
чьему железу — по зубам
нетвердый твой орех кедровый.

Нас нянчили надзор и сыск,
и в том я праведно виновна,
что, восприняв ученья смысл,
я упаслась от гувернера.

Заблудший недоученик,
я, самодельно и вслепую,
во лбу желала учинить
пядь своедумную седьмую.

За это — в близкий час ночной
перо поведает странице,

как грустно был проведан мной
страдалец, погребенный в Ницце.

19 октября 1996



Фазилю Искандеру

Согласьем розных одиночеств
составлен дружества уклад.
И славно, и не надо новшеств
новой, чем сад и листопад.

Цветет и зябнет увяданье.
Деревьев прибылен урон.
На с Кем-то тайное свиданье
опять мой весь октябрь уйдет.

Его присутствие в природе
наглядней смыслов и примет.
Я на балконе — на перроне
разлуки с Днем: отбыл, померк.

День девятнадцатый, октябрьский,
печально-щедрый добродей,
отличен силой и окраской
от всех, ему не равных дней.

Припек остуды: роза блекнет.
Балкона ледовит причал.
Прощайте, Пущин, Кюхельбекер,
прекрасный Дельвиг мой, прощай!

И Ты... Но нет, так страшно близок
ко мне Ты прежде не бывал.
Смеется надо мною призрак:
подкравшийся Тверской бульвар.

Там дóма двадцать пятый номер
меня тоскою донимал:
зловеще бледен, ярко нуден,
двойк и дик, как диамат.

Издевка моего лица
пошла мне в прок, все — не беда,

когда бы девочка Лизетта
со мной так схожа не была.

Я, с дальноркого балкона,
смотрю с усталой высоты
в уроки времени бывшего,
чья давность — старее, чем Ты.

Жива в плечах прямая сажень:
к ним многолетье снизошло.
Твоим ровесником оставшись,
была б истрачена на что?

На всплески рук, на блестящие сцены,
на луч и лики мне в лицо,
на вздор неодолимой схемы...
Коль это — все, зачем мне все?

Но было, было: буря с мглою,
с румяною зарей восток,
цветок, преподносимый мною
стихотворению «Цветок»,

хребет, подверженный ознобу,
когда в иных мирах гулял
меж теменем и меж звездой
прозрачный перпендикуляр.

Вот он — исторгнут из жаровен
подвижных полушарий двух,
как бы спасаемый жонглером
почти предмет: искомый звук.

Иль так: рассчитан точным зодчим
отпор ветрам и ветеркам,
и поведенья позвоночник
блюсти обязан вертикаль.

Но можно, в честь Пизанской башни,
чьим креном мучим род людской,
клониться к пятитопной блажи
ночь напролет и день-деньской.

Ночь совладеет с днем коротким.
Вдруг, насылая гнев и гнет,
потемки, где сокрыт католик,
крестом пометил гугенот?

Лиловым сумраком аббатства
прикинулся наш двор на миг.
Сомкнулись жадные объятия
раздумья вокруг друзей моих.

Для совершенства дня благого,
покуда свет не оскудел,
надземней моего балкона
внизу проходит Искандер.

Фазиля детский смех восславить
успеть бы! День, повремени.
И нечего к строке добавить:
«Бог пбмочь вам, друзья мои!»

Весь мой октябрь иссякнет скоро,
часы, с их здравомыслием споря,
на час назад перевели.
Ты, одинокий вождь простора,
бульвара во главе Тверского,
и в Парке, с томиком Парнй,
прости быстротекучесть слова,
прерви медлительность экспромта,
спать благосклонно повели...

19 и в ночь на 27 октября 1996

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Закат дымами шевелит.
Стареет год, вчера лишь новый.
Над фабрикою «Большевик»
висит румянец нездоровый.

Корпит кирпичный храм сластен,
пресытив рты, измазав щеки
детей чей диатез влюблен
в красу фольги, в услады елки.

Где выдох приторный трубы
и всех меньшинств и кислорода —
соперник, несколько, увы,
подташнивает пешехода.

Но любит он, какой ни есть,
свой праздник. Все неповторимо:
он сам, хоть он слегка не трезв,
и фабрики угрюмой имя,
и весь район, где Правды в честь
зывается улица игриво.

2 января 1997

ИЗГНАНИЕ ЁЛКИ

Борису Мессереру

Я с Елкой бедною прощаюсь:
ты отцвела, ты отгуляла.
Осталась детских щек прыщавость
от пряников и шоколада.
Вино привычно обмануло
полночной убылью предчувствий.
На лампу смотрит слабоумно
возглавля полумесяц узкий.
Я не стыжусь отверстой вести:
пера приволье простодушно.
Все грустно, хитроумно если,
и скушно, если дóшло, úшло.
Пусть мученик правописанья,
лишь глуповатости ученый,
вдохнет на улице — бесправно
в честь «правды» чьей-то нареченной.
Смиренна новогодья осыпь.
Пасть праздника — люта, коварна.
В ней кротко сгинул Дед-Морозик,
содеянный из шоколада.
Родитель плоти обреченной —
кондитер фабрики соседней
(по кличке «Большевик»), и оный
удачлив: плод усердий съеден.
Хоть из съедобных он игрушек,
нужна немалая отвага,
чтоб в сердце сходство обнаружить
с раскаяньем антропофага.
Злодейство облегчив оглаской,
и в прочих прегрешеньях каюсь,
но на меня глядят с опаской
и всякий дед, и Санта-Клаус.
Я и сама остерегаюсь
уст, шоколадом обагранных,
обязанных воспеть сохранность

сокровищ всех, чей царь — ребенок.
Рта ненасытные потемки
предам — пусть мимолетной — славе.
А тут еще изгнание Ёлки,
худой и нищей, в ссылку свалки.
Давно ль доверчивому древу
преподносили ожерелья,
не упредив лесную деву,
что дали поносить на время.
Отобраны пустой коробкой
ее убора безделушки.
Но доживет ли год короткий
до следующей до пирушки?
Ужасен был останков вынос,
круг соглядатаев собравший.
Свершив столь мрачную повинность,
как быть при детях и собаках?
Их хоровод вокруг злых поступков
состарит ясных глаз наивность.
Мне остается взор потупить
и шапку на глаза надвинуть.
Пресытив погребальный ящик
для мусора, для сбора дани
с округи, крах звезды блестящей
стал прахом, равным прочей дряни.
Прощай, навек прощай. Пора уж.
Иголки выметает веник.
Задумчив или всепрощающ
родитель жертвы — отчий ельник.
Чтоб ни обертки, ни окурка,
чтоб в праздник больше ни ногою —
была погублена фигурка,
форсившая цветной фольгою.
Ошибся лакомка, желая
забыть о будущем и бывшем.
Тень Ёлки, призрачно-живая,
приснится другом разлюбившим.
Сам спящий — в сновиденье станет
той, что взашей прогнали, Елкой.
Прости, вечнозеленый странник,
препятствуй грезе огнеокой.

Сон наказующий — разумен.
Ужели голос мой пригубит
воплъ хора: он меня разлюбит.
Нет, он меня любил и любит.
Рождественским неведом елям
гнев мести, несовместный с верой.
Дождусь ли? Вербным Воскресеньем
склонюсь пред елью, рядом с вербой.
Возрадуюсь началу шишек:
росткам, неопытно зеленым.
Подлесок сам меня отыщет,
спасет его исторгшим лоном.
Дождаться проще и короче
Дня, что не зря зовут Прощеным.
Есть место, где заходит в рощи
гость-хвоя по своим расчетам.
На милость ельника надеюсь,
на осмотрительность лесничих.
А дале — Чистый Понедельник,
пост праведников, прибыль нищих.
А дале, выше — благоустье
оповещения: — Воскресе!
Ты, о котором сон, дождусь ли?
Дождись, пребудь, стань прочен, если...
что — не скажу. Я усмехнулась —
уж сказано: не мной, Другою.
Вновь — неправдоподобность улиц
гудит, переча шин угону...
У этих строк один читатель:
сам автор, чьи темны намеки.
Татарин, эй, побывши татем,
окстись, очнись, забудь о Ёлке.
Автомобильных стонов бредни...
Не нужно Ёлке слов излишних —
за то, что не хожу к обедне,
что шоколадных чуд — язычник.

ВИДЕНИЕ РОЗЫ

Вацлаву Нижинскому

Стоял туман, в котором слепнет посох
и лиходея вязнет вялый нож.
Восставшая, прочна на ощупь плоскость,
скрывающая: день она иль ночь.

Вот было что: ничто не наступило
или ничто настало — что за ним.
Растяпа-плотник не подвел стропила
под небосвод, опавший на залив.

Вчера был вторник, люди говорили.
Как разберусь с бездненья чередой?
Пожалуй, так: мы вторника руины
возьмем себе и наречем средой.

Схитрим и по невидимому следу
войдем в четверг и утро обновим.
Мрак откликаться не желал на «среду»:
не помещался в схему аноним.

Мой домик малый был в незримость замкнут.
В условном замке всякий свет погас.
И только кот дремотно-зорким зраком
разумно тратил фосфора запас.

Я знала: электричество стропливо,
за что его и невзлюбил ремонт.
Я, вчуже: сколько времени? — спросила
у явного отсутствия времен.

Будильник мой давно был невменяем
и жил по усмотренью своему.
Его могла б я обойти вниманьем,
но вздорным звоном он вредил уму.

Вдруг оживился телефон разбитый —
соперник съединенья голосов.
Предмет, воображенье поразивший,
удостоверил: ровно ноль часов.

И впредь, не опасаясь повториться,
он охранял незыблемость ноля.
Рассудок — сам затворник и темница —
стал намекать, что вождь его — не я.

Бубнил, что тем и этим полушарьем
он криво сгорблен и стеснен весьма,
но одолеет должным прилежаньем
двумерное узилище ума.

Что он клаустрофобии недугом
давно казним, что мне его не жаль:
я не слежу за сквозняком, надувшим
в отверстие слуха вредоносный жар.

Мне нравилась бунтовщика повадка —
пусть прочь идет, взяв заячий тулуп,
тем боле что должна быть глуповата
та, в честь которой он бывал не глуп.

Мой посторонний разум самовольно
витал, не сжатый ни в каких тисках.
Я принялась за чтение Сименона,
свечи огарок чудом отыскав.

Что я теперь? Его же измышленье
и, стало быть, не измышлять вольна.
Что может быть отрадней и свежее
морщиною не раненного лба?

А то — в себя, словно в глухой колодец,
гляжу, покуда глаз не изнемог,
и встречно смотрит изнутри уродец —
раденьем тщетным изнуренный мозг.

Что, кстати, с ним, промозглость обнажившим?
(Кот дыбил шерсть на говорливый жар.)
Ах, вот что: он поверженным Нижинским
в лечебнице себя воображал.

Он осмелял докучливую просьбу
опомниться: ничто не устроит
умеющего превратиться в розу,
чей стебель сломлен и кровоточит.

Ничтожна новых прорастаний робость,
их неуклюжью не тягаться с ним.
Та, для кого он принял розы образ,
пусть без видений в старом кресле спит.

Я стала привыкать к его капризам,
и, даже если бред его правдив,
растения страдающего призрак —
родим и здесь пребудет невредим.

Да, угодил он из огня в поlying.
Я — не в себе, он — не во мне, но где?
Его бессвязных вымыслов поимка
была моим занятием в темноте.

Таких примерно: ...Близится премьера.
Восхода выход — траурный дебют.
Рот мертвой розы говорит про небо,
что небо — труб и кочегаров труд.
Душе угодно, чтоб, взлетев, померкла.
Но выпорх крыл добудут и добьют
алмаза сглаз, в петлице бутоньерка.
— В шлафрок одет и в шлепанцы обут,
ты кто таков? Вот ложка и тарелка.
Звон оловянный — к завтраку зовут.
— Но завтрак — завтра? Где же взять терпенья,
столь нужного для достиженья утра?

Когда больных тревожили звонком,
дабы прервать глотком или зевком
их пренья и паренья исступленья,
Карсавиной к нему склонились перья.
Ей подвиг — слезы скрыть — не удался.
Она его звала, как прежде: Ваца...
Не видели, чтоб он разволновался.
Он объявил, что с нею незнаком.

Он продолжал: что проку сыпать бисер
в бинокль, в лорнет, в монокль на желваке.
Поступок мышц, всевластных и всебыстрых,
закручен в узел в плоском животе.
Как распрямить несбывшийся избыток
согбенных сил зародыша в желтке.
Прыжок возбранный сам себя превысил:
хлад облака остался на щеке.
Ум одолел: он действие приблизил
к черте, которой нет в простом житье.
Что делать дале любопытным линзам?
Нет зрителей у главного жетте.

Он прикорнул, устав от монолога.
Себя он розой ощущал неловко.
Нет, он себя не знал немолодого.
Он слишком молод, только слишком долго.

Виденье он, которое не в силах
все время знать, как мучится душа.
— А все же где Карсавина? — спросил он.
Ему сказали, что она ушла.

Меж тем с меня тянули одеяло.
Сияло так, что — не стерпеть со сна.
Ко мне пришла сестра-хозяйка Алла,
всех сущих здесь хозяйка и сестра.

Сказала Алла: — Спите больно сильно.
Я всполошилась: спят мои да спят.
— А много ль нас? — в тревоге я спросила.
— Премного: вы и кот-розовопят.

Уж Алла чай по чашкам разливала.
Кот думал: надо ль покидать диван.
Давненько я кота подозревала
в заумственных и хитростных делах.

Кот Васька был заметная персона.
Никто не знал, о чем он помышлял.
Кот, мною почитаемый особо,
был к людям строг и терпелив к мышам.

— Скажите, Алла, нынче день недели
какой? И не было ли безымянных дней? —
Она смеялась: — Вы в своем уме ли?
— Не думаю, — я отвечала ей.

— А правда ль, что стоял туман великий
и всей округой нашей завладел
и снег, с небес невиданно валивший,
морочил и сбивал с пути людей?

— Да нет, слегка туманилась погода,
собрался, да не сбился снегопад.
Сейчас — тепло. Для лыжного похода
из школы отпустили всех ребят.

Вы с Васькой не расслаивайтесь тут.
От дома далеко не отлучайтесь.
Пора, однако: к завтраку зовут.

Но вот что было странно и не просто:
передо мною, на краю стола,
горючая горячечная роза
стояла скорбно в зелени стекла.

Я вышла. Отрясая снег с лопаты,
румяный дворник мрачно произнес:
— Ни вьюга, ни туман не виноваты.
Возвел на них напраслину прогноз.

Пес ради шутки на кота бросался.
Вмешался дворник: — Цыц! Нишкни, борзой. —
Ни в чем не виноватое пространство
в глазах стояло прочною слезой.

В ресницах с нарастающей снежинкой
народ вокруг смеялся и сновал.
Я думала: как тосковал Нижинский,
как тосковал, как страшно тосковал.

Февраль 1997

НАСЛАЖДЕНИЯ В КУОККАЛЕ

Ты ему: ближе к делу, а он — про козу белу.
Поговорка

I. Синяя арка

Когда Корытов арку возводил
(детдом ему отец, а мать — лихо),
мне арки цвет иль действия светил
навязывали имя Метерлинка.

С Корытовым нас коротко свело
родство и сходство наших рукоделий,
и без утайки, каждый про свое
мы толковали на задах котельной.

Мое занятие не давалось мне.
Корытову противилась пластмасса.
Рассвет синел в моем пустом окне.
В худом ведерке синий цвет плескался.

Какой триумф желали увенчать
Корытов — аркой, брэнной и фатальной,
а я — издельем вымысла в ночах, —
для нас обоих оставалось тайной.

На кухне незлобивый пересуд
решал: зачем с Корытовым мы дружим?
Но арки — не всемирен ли абсурд,
всех съединивший слабым полукружьем?

Перо не шло, Корытов кисть ронял,
и, наблюдая исподволь за нами,
в игру вступали флейта и рояль —
в том доме обитали музыканты.

Заслышав их, являлась мысль уму:
мираж не затруднителен, не так ли?

Разъятому и сирому всему
не в тягость будут своды синей арки.

И, может быть, немало бесприютств
утешатся под призрачным покровом.
Перо воспишет, звуки воспоют,
лоб озарится измышленьем новым.

Был остов арки бледен и раним,
чем умилял смешливую окрестность.
Пока, пожалуй, только Метерлинк
решился заглянуть в ее отверстие.

Пока Корытов занят был трудом
я шла гулять. Уже залива всплески
твердели. Рядом громоздился дом —
ровесник, кстати, знаменитой пьесы.

Синей синиц не обитало птиц
поблизости. Но птица флюгер-символ,
воссевшая на деревянный шпиг, —
поскрипывала, отливая синим.

В осьмом году построен для усад,
охочий до гостей и фейерверков,
дом-старец превратился в детский сад,
эпохи гнев стерпел и опровергнув.

В былые дни — какие кружева
вверх-вниз неслись по лестницам парадным?
Какая жизнь предсмертно здесь жила
при играх бриза с флюгером пернатым?

Залив держал Кронштадт над синевою.
Цвела витражных стекол филигранность.
Пил кофе на террасе Сапунов,
вещуњи-гущи не остерегаясь.

Еще четыре года у него
до дня, когда Блок отвечал так строго.

Пока ладью во мглу не унесло,
четыре года — как огромно много.

Я жадно озидала скромный миг,
чьи продолженья скрытны и незримы,
на что и намекал не напрямик
дом, обращенный в бедные руины.

Стыл детский сад, покинутый детьми.
В угодых слез наследством населенных,
Фирс-Насморк брел средь беспризорной тьмы —
изгой-избранник алых носоглоток.

Я удивлялась прибыли тоски,
игрушку позабытую всего лишь
заметив (здесь, в строке, — укус осы
и перерыв, оброненный совочек).

Утрату детской ручки описать
не удалось: поры предзимней дивность —
оса, со сна проведав слово «сад»,
над вздутьем кисти пристально трудилась.

Рука опухла. День клонил ко сну.
Строку б исправить — да оса мешала.
Не прогнала я острую осу —
как вспльчивый привет от Мандельштама.

Явившийся из отчужденных звезд,
отринул все, что знаю и рифмую, —
*«Вооруженный зреньем узких ос,
сосущих ось земную, ось земную...»*

Я погасила лампу и спала,
диктант нездешний записав в тетрадке.
Откуда бы ни донеслись слова,
я их сочла наитьем синей арки.

...С утра Кобытов, отрицавший власть,
схватился с бригадиром-моралистом.

Туманилась и распадалась связь
строенья с непричастным Метерлинком.

Мы оба были с ним посрамлены.
Чурались букв строптивные страницы.
Корытов красил синим валуны —
со зла иль в честь недостижимой птицы.

Пока на арку тратилась казна
и брег залива становился синим,
мою судьбу возглавила Коза,
весьма ее возвысив и усилив.

II. Отступление о Козе

Всем известно уже: это было, когда
строил синюю арку Корытов.
На крыльце на моем возбелела Коза,
с грязью долгих дорог на копытах.

Увидав, каковы ее стать и краса,
сочинители музык вскричали:
— Все мы — слуги твои! Князь над нами, Коза!
Не оставь нас в беде и печали.

Нам наскучил бемоль, нам диэз надоел,
мы к ногам твоим сложим клавиры.
Но капуста тебе не грозит недоед
и достанет десертной ковриги.

Стал блистателен день, стали люди не злы,
все исполнилось музыки дивной.
Есть у Бунина образ подобной козы,
изумительной и трагедийной.

На крыльце полнолунно мерцала Коза,
но порой, по прибрежной дороге,
отражая закат, несказанно красна,
шла со мною Коза в Териоки.

Одинаковы были у нас имена:
удручен синевою производства,
если зодчий Корытов окликнет меня —
для начала Коза отзовется.

Разъяренный, явился начальник Козы:
привязал ее к велосипеду
и повлек в направленье домашней грозы,
но не смог поборот непоседу.

Вновь Коза на моем утвердилась крыльце.
Сник хозяин ее одичавший.
Спать ложилась Коза, и, созвучно Козе,
сотрясался мой домик дощатый.

Становилась Корытова арка синей.
Снег был ранен сугробами марта.
Мы бродили под аркой с Козою моей,
как заблудшие призраки МХАТа.

Наш с Козою союз всем на радость крепчал,
но ученое сердце предзнало,
что любовь непреложно венчает печаль:
сборы, сумерки, запах вокзала.

Нрав Козы стал злокознен и рог не ленив.
Безутешно вспомню сегодня,
как прощалась с брадатостью козьих ланит
и с талантом ее своеволья.

Был ужасен отъезд, разрывающий нас.
Вечно быть мне пред ней виноватой.
Горе жизни моей — вопрошающий глаз,
перламутровый, продолговатый.

Я, расплакавшись, ехала в Зеленогорск.
Козья прыть догоняла автобус.
В скорый поезд пускать не дозволено коз.
Так кончается грустная повесть.

III. Наслаждения в Куоккале

Вот мимо хвойных дюн и хмуро-хворых здравниц,
блистая и смеясь, летит беспечный гость.
Куоккале моей не чужд сей чужестранец,
но супится вослед ему Зеленогорск.

Народец наш не зол, не то ему завидно,
что путник здрав умом, пригож, богат, любим.
Обидно, что не зря он мчится вдоль залива.
Мы ж попусту стоим и на замок глядим.

Его влечет бокал с напитком можжевельным.
Соломинку возьмет хозяин финских вод.
А тут измучен ум сомнением ежедневным:
то ль вовсе нет ее, то ль кончится вот-вот.

Потупится пред ним угодливость балета.
Нам это — тьфу! У нас — свое па-де-труа.
Кленовый лист за ним взметнулся раболепно.
Я этот лист потом в грязи подобрала.

За быстролетность миль унылость верст тягучих
он держит... — Не замок загадочен, а то,
что продавец — внутри, и с нею Колька-грузчик.
— Какой? — Коляй с бельмом, с наколкой «Бельмондо».

Чу! До-диез стекла и тремоло кларнета
(Стравинский). Милый яд — вот льется, вот замолк.
Там самобраный стол накрыт на два куверта.
— Открой! — Еще чего! — ответствует замок.

— Знай, Клавка: этот миг, когда ни с чем ушли мы,
еще припомнишь ты, варимая смолой!
Опрятные крыла вдоль родины-чужбины
влекущей, поспешай в град, не скажу: какой.

Град, не скажу: какой, у сердца есть сноровка
во сторону твою отсель глядеть с тоской.
Меж мною и тобой в чем сила приворота?
Мне с ней не совладать, град, не скажу: какой.

Я расточаю дни на вольные хождения,
их цель сокрыта в них, пока брожу окрест.
Но все ж и у меня свои есть наслажденья.
Да, наслажденья есть. Вот скромный их реестр.

IV. Домик

Влиятельных вблизи дизелов и неврозов,
чьи зябкие крыла летают налегке,
люблю мой кроткий герб, мой слабоумный розан —
в обоях на стене и в ситце на окне.

Живу себе, привет нехитрого дизайна
доверчиво приняв и пылко возлюбив.
Давно меня страшат дерзанья, притязанья.
А мой цветочек — ал, убог и незлобив.

Навряд ли мой сюжет покажется кому-то
заманчивым, но я считаю за триумф,
что птичьей толчеей наполнена кормушка.
(Клянется кот, что он — не зряч, не востроух.)

Прилягу на диван — кот мне на грудь ложится,
целбно усмирив тахикардийный бег,
как если бы на нас не зарилась ошибка
сварливых новостей и неизбывных бед.

Круг кошек здесь широк и в дружестве не робок.
Пристрастья их сердец прочны и не просты.
Их путь сокрыт в снегу, зато поверх сугробов
возводят вертикаль и движутся хвосты.

«До» — «ми», рояль, где «ре»? Потеряно, продуто,
утрачено тройной трепещущей трубой.
Водопровода трюк: утробное профундо.
До-мик, на миг я спасена тобой.

Свет лампы возожжен. Сокрытый смысл нашептан.
В два цвета Дебюсси — черно-бело в окне.

Дарован домик мне, как если бы Нащокин
был милостив ко мне. Точнее: и ко мне...

V. Ветреная осень

Стояла осень счастья моего,
верней — неслась, нас к северу сдувало:
купальщиков, которым море — по
колени, — с моря, лежебок — с дивана,
и Репино о скалы Монрепо
разбилось бы, но руки воздевала
подвижница Музея, небосклон
моля, чтоб раритеты не рассеял.
Клин экскурсантов, дик и невесом,
к надземным приноравливался сферам.
Сам знаменитый самобранный стол
возглавил вихрь, влекущий нас на север.
Стол-сумасброд, что потчевал невроз
элиты видом быстролетной снеди,
на этот раз с народом жил не врозь
и родственно вращался в лад со всеми.
Гуськом стоявший, взмыл Зеленогорск —
об очереди спорили соседи.
В условиях неба очередь важна
для упасенья сирой единицы.
В земной зиме в нее водворена
промозглость наша, как в пары теплицы.
Нестройность стаи опекала она
умом периодической таблицы.
Полета вождь — сотрудица «Пенат»
изрядно знала репинскую тему.
Купальщик моря кротко ей пенял,
что не натурщик он и зябко телу,
да и в Музее он не мог понять
жить в здоровом хладе Репина затею.
По счастью, встречный ветер налетел.
В надежде, что прилавок одолеем,
снижались мы все круче и смелей.
Встав в очередь, теснима единеньем,
вновь в должном месте я, как элемент

в системе, что содеял Менделеев.
Котомку отворив, невдалеке,
не чуждый общих чаяний корыстных,
с высокомерной тайною в лице,
нас, усмехаясь, озирает Коротков.
«Эх, времена!» — он думал, как и все,
мне не доверив помыслов сокрытых.

VI. Светает

Седьмой в исходе час, и можно обозреть
согласье меж окном и синим томом Блока.
Извне глядит рассвет на милый образец:
не слишком ли сине? а так — не слишком блекло?

Лилового чуть-чуть добавить ли? Скорей!
Срок малый отведен для сотворенья месив.
Вот для чего со мной пришелица — сирень
персидская, и с ней помолвлен полумесяц.

Махровой гущины высокородна спесь,
и солнце, припоздав, ее не одолело.
Дом с башней за окном еще не зрим, но есть:
шпиль разрывает мрак, как при грозе в Толедо.

Луч желтый привнесен в угрюмую зарю.
В избытке цвета нет излишка и огреха.
На сбывшийся рассвет устало я смотрю —
как бы на свой шедевр задумчивый Эль Греко.

VII. Окрестности

Где имени старухи Изергиль
дворец воздвигнут пышно-худосочный,
люблю бродить. Не вовсе извратил
Палладио заветов буйный зодчий,
но скромность кватроченто превзошел,
ей навязав барочные ужимки.
Догадкой созерцатель поражен

и восклицает: — Я не на чужбине,
не близ Виченцы! — Где же? — Где-то здесь,
где надобно, в округе анонимной.
— Зачем же, в паллий невпопад одет,
стоит певец старухи знаменитой?
И гипсу зябко в этакую стынь.
Больное изваяние согрето
моей привычкой сообщаться с ним —
вблизи залива, да, но не в Сорренто.
Строение возведено давно
для утомленных членов профсоюза.
Их отдых скуп: кино и домино,
тайком — вино. Все кротко, простодушно.
Но есть и клуб для маленьких торжеств:
обнимка танцев услаждает будни.
В названье клуба: красной краской в жель —
уныло вписан мрачный вестник бури.
Присутствует лечебница — она
сама хворает в стылых коридорах.
Сердешная, она наречена
в честь Данко, так придумал кардиолог.
Но, зная, устройство наше таково:
все к сердцу припеклось и приболело.
Мое в залив глядящее окно
уверено, что вперилось в Палермо.
Дух италийский — не новинка здесь.
Да, Рима нет, но это поправимо.
Неподалеку санаторий есть,
зовется он: «Джузеппе ди Марино».
Я думаю порой: кто сей морской?
Душою мягок и в сужденьях резок,
любил ли граппу? Мучимый тоской,
должно быть, о всеобщем счастье грезил?
Что ж, он отчасти своего достиг.
Прислуга санатория сварлива,
но жалостлива к жажде душ простых
в буфете у Джузеппе выпить пива.
Добившись утешительных глотков,
уст благодарность прямо говорила:
— Хоть мы не знаем, кто он был таков,
но в чем-то прав Джузеппе ди Марино. —

Брожу средь перелесков и лощин.
Ко мне привык люд местный и приезжий.
Иду домой и вижу, снег лежит
на синей арке, несколько осевшей.
Все в радость мне: и веник на крыльце,
и домика возлюбленная малость,
и снег, что тает на моем лице,
прохладен, как новехоньякая младость.

VIII. Поездка в Зеленогорск

На остановке собрался народ.
Его возбуждает дорога.
Автобусы следуют в Зеленогорск,
их два, но замешкались оба.

Собравшийся в школу, скажи, педагог:
как выбрать точнее и тоньше?
Мне двести одиннадцатый подойдет,
но двести двенадцатый тоже.

Приблизились вместе, и тесно уже
калошам, заплатам, прорехам.
Мне двести одиннадцатый по душе —
как будто в нем Питер приехал.

Не весь и не сам, но послал, сколько мог,
даров: за чугунной решеткой
видение сада и Аничков мост,
в стекле лобовом отраженный.

Но мне — пятьдесят километров всего
до них, если ехать обратно.
Меж тем над заливом совсем рассвело.
Автобус до цели добрался.

По Зеленогорску неспешно хожу
вдоль луж и асфальтовых кочек.
Заветный мой град в отдаленье держу
и рыбу скупаю для кошек.

В киоске воды попросила стакан
с гостинцем Полюстрова скушным.
Казалось: какой-то другой истукан
стоял, озирался и слушал.

И кто он — не знал ни один документ.
Во лбу расплылось и погасло.
Всего-то спросили его: — Вы за кем? —
а он отвечать испугался.

Хотел оттеснить его рыбный отдел,
да заступилась кассирша.
Милиции глаз на него поглядел —
не зло, просто так покосился.

Уборщица, с рыбьим борясь серебром,
прошла, чешую выметая,
и продавщица, взмахнув топором,
порушила глыбу минтая.

Тому, кем я стала, казались страшны
от рубки озябшие руки.
Он тупо уставился в рыбы зрачки,
закрытые наледью муки.

Да кто он такой — этот пришлый чужак,
залетная сирая птица?
И где его хладный подвал иль чердак;
где он без прописки ютится?

Иль спит он тайком под вокзальной скамьей,
обманщик законов и правил?
Он изгнан с работы, отвергнут семьей
и алиментов не платит.

Зачем он направился в универмаг?
Приказчик был сух и надменен,
когда он бессвязно его уверял,
что сделать покупку намерен,

а именно: пуговицу приобрести
желает он — время настало.

Просимое выдал ему продавец,
что было любезно и странно.

Румяная тетка смеялась над ним,
мальчонку пожарче закутав:
— Вот это обновы! — Он ей пояснил:
— Еще и не то мы закупим.

В толкучке, видать, полегчало локтям:
он вел себя вольно, речисто.
Рояль он оглядывал, «Красный Октябрь»,
но тронуть его не решился.

Ему перерыв на обед помешал.
Добычливой публикой сдавлен,
он вышел. Нечаянно он помышлял
о граде печальном недалнем.

В пятидесяти километрах всего...
Не слишком ли дерзко, что — рядом?
Свободою: медлить — мосты развело
меж градом, столь близким, и взглядом.

Он вышел. Не вовсе он был нелюдим:
сплотились мы и не расстались.
Мне стало заметно, что мною любим —
мною бывший отчасти — скиталец.

Присвоенный образ прижился ко мне.
Пространных снегов обитатель,
я — ровня всем сущим на этой земле
и пуговицы обладатель.

А что до туманов моей головы, —
погодой ободрены зимней,
в очередях, в толчее голытьбы,
они — многодумней и зримей.

Удача поездки моей — не мала,
юдоль отвергаю иную.

— Здорово! — Корытов окликнул меня.
Мы с ним завернули в пивную.

А там — доставало услад и прикрас,
в дыму вдохновенье витало.
Корытов же был в телогрейке — как раз
ей пуговицы не хватало.

Сгодился подарок, какой-никакой,
для пущей красоты телогрея.
Вдруг мной овладел совершенный покой —
впервые за долгое время.

Жаль — надобно на остановку идти.
Что ж, наши поклажи не тяжки.
Нам двести одиннадцатый по пути
и двести двенадцатый также.

Автобус удобен, помимо всего,
и тем, что внушает автобус
к случайным соседям любовь и родство
и к добрым деаньям готовность.

Ум кошек явлению рыбы внимал.
Гуляла метель по равнинам.
С Корытовым мы разошлись по домам.
А пуговицу — уронил он.

Декабрь 1996

НЕДУГ

Какое-то время назад мне довелось быть в больнице в Питере, на Васильевском острове. Я читала Пушкина и Гоголя. Но вот еще что я читала (тогда впервые и в старом издании, со старой орфографией) — Антония Погорельского (это псевдоним Алексея Перовского). Пушкин писал брату из Михайловского, что он сразу узнал автора повести «Лафертовская маковница», где действует мистический Кот.

Прямо перед окном палаты был дом, который казался мне таинственным. В нем то зажигался, то гас огонь свечи и мерцали глаза кошек. Я выходила в больничный двор. Возвращаясь в палату, читала Погорельского, а вблизи стоящий дом с чердаком опять был освещен мерцанием свечи и глазами кошек. Все это происходило на Васильевском острове (так писали в то время), но это был остров, и я нечаянно думала о Гогене, и никто не возбуждал мне этого мечтания.

4 мая 1995

Посвящается Антонию Погорельскому

Кхе-кхе... кхе-кхе... а завтра Рождество.
На площадях, курчавясь и пылая,
Рождественское древо проросло.
По европейским мостовым гуляя,
друзья мои, вспомните Руссо:
уединеньем душу утоляя,
живу. Но алчно ропщет естество:
де, где дары Святого Николая?

Не встать — в канун Рождественского дня.
Напасть и страсть берутся ниоткуда.
Ни месяца, ни прочего огня
нет в небесах. Опять кузнец Вакула

взнуздал, какого — не скажу, коня.
Во дни печали и в часы разгула,
друзья мои, вспомните меня!
Вставай, трудись, бездельница-простуда!

Кхе-кхе... кхе-кхе... идет на ум декохт,
поверх капота — накрест шаль, да кофта.
Не душегреен этот хлам! Доколь,
прах вас возьми, мне ожидать декохта!
Вздор ваш декохт! Подать настой, да тот,
до чьих достоинств барина охота
и в снах мне утешенья не дает.
Слез у вдовы поболе, чем дохода.

Иль лучше так: кхе-кхе — и над платком
на миг один потуплены ресницы.
Хочу на бал — плясать со всем полком,
как толстые уездные девицы.
Не я плоха — ваш врач в уме плохом,
сует флакон и все бубнит о Ницше.
И кто-нибудь (вдруг я) — Бог весть о ком
вздохнет, завидев русский крест близ Ниццы.

Вообще, я примечаю, что недуг,
смирив мой дух, сам пребывает в духе.
Ходили гости — более найдут:
уронит руки, как умела Дузе,
и спросит: — Друг мой, Вы — магистр наук,
что скажете о блохах и о дусте? —
Недуг надует всех, его найдут
и мне вернут — его земной обузе.

Недавно заглянул через балкон
книг сочинитель. Все страшились брани.
Из-под бобра так и блестит белком
и бровью водит: есть на свете баре.
Какая ласка в голосе больном,
изъявленном поблекшими губами:
— Хвалю Ваш труд. В России век благой.
Вы поняли значенье финской бани.

Вот — как султан, вкушает солутан,
тюрбаном нарядив температуру.
Хворь-прихвостень, как вертихвостка-тварь:
— кхе-кхе! — в догон дурному каламбуру.
— Съезжай-ка в Тверь или в другую старь,
читай Минею и смирай натуру. —
Опять дерзит: — Найду ли соли там?
И праведно ль подвергнуть Тверь недугу?

Но что «кхе-кхе», коль есть пенициллин?
Приходит доктор, многодумный отрок.
Он хворь мою беретса исцелить,
кусая плоть касаньем жалец острых,
но надобно меня переселить
на остров. Нет ли жалоб и вопросов?
О нет! Словно в изгнанье — властелин,
вспять волн и славы, я плыву на остров.

Взирайте, мореплаванья отцы,
надвинув шляпы и плащи накиннув,
завидуйте, молодые храбрецы,
чье прилежанье пестует Нахимов
и будит мысль про чуждых стран красы
отель напротив, полный пилигримов.
Прощаюсь! Слезы леденят усы.
Склонились к муфтам дамы в пелеринах.

Не осерчай, суровый Крузенштерн.
Люблю твой лик, когда поземка вьется.
Не спрашивай, куда плывет, зачем
гадательное затверденье воска.
Лишь бы спроста ревнитель шхун и шхер
на след мой слабый не науськал весла.
Я добралась и озираю в щель
мой остров, что Васильевским зовется.

Шутила я — но боле не шучу.
Васильевского острова всех линий
понятна схема детскому шажку,
и шагу мужа в лад со шпагой длинной,
и ножке, коей я хвалу шепчу,

невидимой, но несомненно дивной.
О чем грущу? Что рассказать хочу
Рождественскою ночью нелюдимой?

Начну: я этих стен абориген,
пристрастный к лампе, тумбочке и стулу.
С брезгливой скукой сосчитал рентген
костей незанимательную сумму.
Пока я суп, на стуле сидя, ем,
из близи гавань окликает сушу:
— Островитянин должен быть — Гоген!
Всех прочих — гнать! Не наливать им супу!

К окну вплотную подведен чердак.
Он хладен, как потухшая геенна.
В нем кошки — то ли в сумрачных чадрах,
то ль впрямь черны, как нагота Гарлема.
Чердак не прост и волшебством чреват:
в пустом окне вчера свеча горела.
Из гавани подуло в ум: «Чем так
есть суп, не лучше ль думать про Гогена?»

Навряд ли б этот остров уберег
скитальца от остуды и осады.
Зачем ему триумф чужих ворот
и все эти фасады и ансамбли?
Здесь слишком грузен верховодный рок! —
как вдруг из очарованной мансарды
явились таитянки грудь и рот
и туши манго млели и мерцали.

В окне — чердак. Но и само окно —
вечернего мороза измышление.
— Предмет иль факт, по мнению Кокто,
для остроумца — крапина мишени, —
сказал вошедший, догадайтесь — кто.
Меня ль желал он повидать, мышей ли —
вторженье гостя сердце увлекло,
и сказка — чем ночнее, тем смешнее.

— Не всем дано сидеть в кафе «Куполь»
под Рождество, — промолвил Кот печально.

— Не всем дано сидеть в окне с Котом под Рождество, — Коту я отвечала.
— От лишних слов меня уволь. — Изволь. — (Уж мы на ты!) Он смолк — и я молчала.
— Халат с мочалом не войдут в «Куполь», где был Гоген! — донесся смех причала.

— Причал помешан, мало что коряв, — Кот расплетал таинственные нити. — Один корабль, дырявый, как карман, соврал ему, что плавал на Таити, и розовый показывал коралл — небось украл. Всем велено: таите причала страсть к полуденным краям. Причал вскричал: — Рты лживые заткните!

Кот спросил: — Когда врачи взойдут? Обходы их излишни и опасны. В моих покоях я храню сундук. Что атласы? Глядят во тьму алмазы, из чьих сверканий огонь любви воздут, — какие ими венчаны альянсы! Камзолы, звезды, парики — всё тут. Но все это не подлежит огласке.

— Мой Кот, стремглав влюбилась я в чердак. Пусть при чертах служил твой предок всякий, — я всей душой люблю тебя и так, за профиль горбоносый и усатый. Ты добр и мудр, ты много книг читал, так одари еще одной усладой: пусть род котов хранит в своих чертах твой цвет: зелено-серый, полосатый.

— А хорошо ль мочалкою дразнить?
— Что за беда! Зови его «причалкой». Ты сам сказал: ему наглец дерзил. Недвижному, легко ль следить за чайкой под лязг дрезин? — Каких еще дрезин? — Ну, дизелей иль дрызг портовой чайной.

Он, впрочем, счастлив. Остается с ним
Гоген: никем не знаемый, печальный.

Мой сердцегрейный, сердцеедный Кот!
Что твой сундук без двух твоих смарагдов?
Ты помнишь ли, как Пушкин анекдот
рассказывал и слушал Космократов? —
Кот возопил: — Читатель рифмы ждет!
На, вот! — Нишкни. Строений косоватых
внутри не часто брезжил огонек.
Вор думал: припозднился мой соратник.

Рассказ и устрашал и услаждал,
а Космократов (он без псевдонима —
Титов), придя домой, спросив шандал,
все записал прилежно и наивно,
и Дельвиг повесть вскорости издал.
— Зачем меня сюда ты посадила? —
воскликнул Кот. — Я все это читал,
и вот чердак, где было это диво.

— Но Пушкин сказывал, что этот дом сгорел.
— Сначала он в его воображенье
построен был, темно смотрел, старел,
а надоел — что лучше, чем сожженье?
Поэтому же столько там смертей.
Всеобщим крахом кончи изложенье!
На острове Васильевском метель,
а сказка — чем ночнее, тем скушнее.

Или пойдем шалить в моем дому.
Поныне там сохранны тени эти.
Проведаешь и деву, и вдову,
и франта черта, принятого в свете,
и шулеров с рогами и в дыму,
графини прянешь в ведьминские сети,
как бы в гамак, чтоб подремать в аду. —
Причал заметил: — Нечестивцы все вы.

Жуковского луна взошла в зенит.
Снег сыплется. Приветный и волшебный

горит огонь в окне Карамзиных.
Как возбужден озябший гость вошедший:
брегет, подвески, воздух — все звенит.
Стеснен оковой жемчуга ошейной
пульс в гордом горле. Гостя веселит
извив ума — ущельный и отшельный.

— На острове Васильевском был дом, —
он говорит, — убогий, диковатый.
Вы знаете, что за девиц и вдов
есть хлопотун, учтивый и коварный... —
Уже он любит этот вздор, но вздох
испуга гасит свечи вдоль диванной.
Кто сам желает разобраться в сем,
пусть том возьмет из десяти девятый.

Кот, я сама не знаю, почему
меня в угодыя прошлого так тянет.
Уж ни в каком неймется мне дому,
и тяжело знать, что худшая из тягот —
стараться жить по чести и уму.
Вот острова Васильевского тайнам
доверюсь я и вовсе в них уйду.
Причал воскликнул: — Слава таитянам.

— Честь, честь и честь — и боле ничего, —
ответил Кот. — Не продаваться ж в черти!
— Шесть, шесть и шесть — антихриста число, —
но эта мысль для устрашенья черни.
— Шерсть, шерсть и шерсть — взгляни в мое стекло:
три шерсти там, и пусто в каждом чреве.
— Есть, есть и есть, уж скоро Рождество
взойдет звездою в небе и на древе.

Вкруг дуба ходят по цепи коты
ученые, а прочие — промокли.
— Кот, ты влюблен? — Ее зовут Коти.
Но более — ни слова, ни обмолвки.
— А те, в густых чадрах, смуглее тьмы?
— Их роль скромна: кухарки, судомойки.

Ты мне стишок какой-нибудь прочти.
Где книг возьмешь? Лишь слухи да намеки.

Здесь — краткой оговорки пустяки.
Читатель, я на встречу не надеюсь,
но к этой притче приложу стихи,
Кот будет их издатель и владелец.
Из лап его не вырвет ни строки
никто, я твердо на Кота надеюсь.
Но не взыщу, коль все порвет в клочки
кота младенец или многодетность.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Виктору Конецкому

В Санкт-Петербург пишу. Звучит неплохо.
Но так играет в шахматы эпоха,
чья сложность вкратце — наши жизнь и смерть,
что улица: «им. Ленина» — как прежде
зывается. Нумер дома — двадцать шесть,
квартира нумер двадцать. Стала реже
я навещать причал или подъезд
(по-питерски: парадная). Парада
в подъезде нет, да и подъезда нет,
но сам подъезд, жюльверностью пиратства
въезжает в заумь. Эта пристань есть,
чтоб адресат пристанище имел
в уме и в доме.

Странен Крузенштерну
сей пишущий, страшщийся морей?
Пишу тебе, к столу склоняя шею.
Прими привет души морской моей.

Март 1997

СОЗЕРЦАНИЕ СТЕКЛЯННОГО ШАРИКА

Ладони, прежде не имущей,
обнова тяжести мешает.
Поэт, в Германии живущий,
мне подарил стеклянный шарик.

Но не простой стеклянный шарик,
а шарик, склонный к предсказаниям.
Он дымчатость судьбы решает.
Он занят тем, чего не знаем.

Когда облек стеклянный шарик
округлый выдох стеклодува,
над ним чело с надбровным шрамом
трудилось, мысля и колдуя.

Пульсировала лба натужность,
потворствуя растрате легких,
чей воздух возымел наружность
вместилища миров далеких.

Их затворил в прозрачном сердце
мой шарик, превратившись в скрягу.
Вселенная в окне — в соседстве
с вселенной, заточенной в склянку.

Задумчив шарик и уклончив.
Мне жаль, что он — неописуем.
Но так дитя берет альбомчик
и мироздание рисует...

Это — не эпитафия, это — начало стихотворения.

Может быть, и впрямь, препона моим стараниям заключена в упомянутом неописуемом шарике? Вот он отчужденно и замкнуто мерцает передо мной с неприступным выражением достоинства, оскорбленного предложением позировать и подвергать обзору и огласке свою важную тайную

суть. Одушевленная стеклянная плоть твердо противится вхожести дотошного ума, хоть они весьма знакомы. Но на что годен сочиняющий ум, который знает, а упорхнувшая музыка о нем знать не хочет, звук — беспечный вождь и сочинитель смысла. Своевольный шарик — не раб мой, угодливо отнесу его в привычные ему покои письменного стола, а сама чернавкой останусь на кухне и начну о нем судачить. Полюбовалась напоследок, напитав его светом лампы, — и унесла.

Как и написано, шарик этот благосклонно подарил мне поэт, в Германии живущий. Он был немало удивлен силой моего впечатления при получении подарка. Умыслом и умением стеклодува, округлое изделие, изваянное его легкими, изнутри было населено многими стройными сферами: более крупными, меньшими и маленькими, их серебряные неземные миры ослепительно сверкали на солнце, приходясь ему младшими подобьями. В сердцевине плотно-прозрачного пространства грациозно произрастала некая кроваво-коралловая корявость, кровеносный животворный ствол — корень и опора хрупкой миниатюрной вселенной. Ее ваятель с раскаленными щеками не слыл простаком: и ум знал, и музыка ума не чуралась. И шарик мой был не простой, а волшебный, что не однажды и только что подтвердилось.

Все это происходило в небольшом немецком городе Мюнстере, населенном пригожими людьми, буйно-здоровыми детьми и множеством мощно цветущих рододендронов. Нарядный, опрятный, неспешный, утешный городок. Если бы вздумала усталая жизнь отпроситься в отлучку недолгой передышки — лучшего места не найти для шезлонга. Но для этого надо было бы родиться кем-нибудь другим — лучше всего вот этим гармонично увесистым дитятей, плывущим в коляске с кружевным балдахинном, свежим и опытным взглядом властелина озирающим крахмальный чепец няньки и весь услужливо преподнесенный ему, обреченный благоденствию мир. Или хорошенькой кондитершей, чья розовая, съедобная для ненасытного сладкоежки-зрочка прелесть — родня и соперница роз, венчающих цветники тортов, сбитых сливок с клубникой и прочих лакомств ее ведомства. Или, наконец, вон тем статно-дородным добропорядочным господином, он не из сластен, он даже несколько кривится при мысли о приторно удав-

шейся жизни, пока запотевшая кружка пива подобострастно ждет его степенных усов.

Примерка сторонних образов и обстоятельств быстро наскучит или экспромт сюжета начнет клянить углов, поворотов, драматических неожиданностей, что косвенно может повредить облюбованным неповинным персонажам. А у меня всегда, где-то на окраине сердца, при виде чужого благоустройства живет мимолетная молитвенная забота о его сохранности и нерушимости.

Шарик сразу прижился к объятию моей ладони, пришелся ей впору, как затылок собаки, всегда норовящей подsunуть его под купол хозяйской руки. Собака здесь притом, что теплое стеклянное темя посылало в ладонь слабые вмятные пульсы, ободряющие или укоризненные, но вспомогательные.

Пойду-ка верну шарик из полубовной ссылки, заодно проведаю загривок собаки.

Заведомо признаюсь возможным насмешникам, что часто отзывалась игривости и озорству предметов и писала об этом, как бы вступая с ними не только в игру, но и в переписку. Эти слабоумные занятия не худшие из моих прегрешений, и они несколько оберегли меня от заслуженной почтенной серьезности.

По возвращении в Москву мы с шариком вскоре уехали в Малеевку, где, вырвавшись в лето, главенствовали и бушевали дети. Мой балкон смотрел на овраг и пруд, в глухую сторону, обратную их раздолью. Чудный был балкон! Он был сплошь уставлен алыми геранями, возбужденно пламенеющими при закате. Когда солнце заходило за близкие ели, я думала о Бунине. Гераневый балкон я называла Бунинским. Днем я выносила на него клетку с любимой поющей птицей. К ней прилетал оставшийся одиноким соловей, и они пели в два голоса. Я рано вставала и плавала в пруду — вдоль отражения березы к березе. В пятницу — до понедельника — приезжал Борис, с нашей собакой. Я ждала его на перекрестке в полосатом черно-белом наряде, в цвете и позе верстового столба. Борис и собака уезжали ранним утром — я ощущала яркую, как бы молодую, какую-то остро-черемуховую грусть. Со мной оставались леса и протяжные поля, гераневый Бунинский балкон с оврагом и прудом, книги, перо и бумага, любимая

поющая птица и, конечно, стеклянное сокровище — или сокровищница, учитывая насыщенность его недр звездами, кровавистым коренастым кораллом, тайным умом и явным талантом? Мыслящий одухотворенный шарик был неодолимо притягателен для детей, я этому не препятствовала. Шарик с некоторой гордой опаской, но все же уступчиво давался им в руки. Дети по очереди выходили с ним в другую комнату, шептались, шушукались, спрашивали, просили, загадывали и гадали. Некоторые их желания сбывались немедленно: в правом ящике стола я припасала для них сласти и презренные жвачки. С небольшой ревностью я просила, как о всех живых тварях: только не тискайте, пожалуйста, не причиняйте излишних ласк. Дети вели себя на диво благовоспитанно, уважительно обращаясь к взрослому шарикуну полным и удостоверенным именем: Волшебный Шарик. Некоторые из них его рисовали — и получался краткий, абстрактно-достоверный портрет всеобъемлющего свода. Недвижно плывущие в нем сферы нездешних миров они, без фамильярности, именовали пузырьками, что смутно соответствовало неведомой научной справедливости.

По ночам шарик уединялся и собратствовал с всесущей и всезнающей бездной. Возглавляющая Орион желтая Бетельгейзе, по своему или моему обыкновению, насылала призывную тоску, похожую на вдохновение.

...Но так дитя берет альбомчик
и мироздание рисует.

Побывать тобою, рисовальщик,
прошусь — на краткий миг всего лишь,
присвоить лика розоватость
и карандаш, если позволишь.

Сквозь упаданье прядей светлых
придать звезде фольги сверканье
и скрытных сфер стеклянный слепок
наречь по-свойски пузырьками.

А вдруг и впрямь: пузырь — зародыш
и вод, и воздуха, и суши.
В нем спят младенец и звереныш.
Пузырчато все то, что суще.

Спектр емкий — елочный и мыльный —
величествен, взглядеться если.
Возьми свой карандаш, мой милый.
Остерегайся Бетельгейзе.

Когда кружишь в снегах окольных,
и боязно, и выюга свищет, —
то Орион, небес охотник,
души, ему желанной, ищет.

Вот проба в дальний путь отбытья.
Игрушечной вселенной омут —
не сыт. Твой взгляд — его добыча —
отъят, проглочен, замурован...

Старинно воспитанный, учено-сутулый мальчик стал ближайшим конфиденнтом шарика, но деликатно посещал его реже других паломников, робко испросив позволения. Когда они с шариком смотрели друг на друга, меж ними зыбко туманилось и клубилось родство и сходство. Глаза мальчика, отдаленные и усиленные линзами очков, тоже являли собою сложно составленные миры, сумрачные и светящиеся, с дополнительными непостоянными искрами. Казалось, что самому мальчику была тяжела столь громоздкая сумма зрачков: понутив голову, он занавешивал их теменью ресниц — это был закат, общий заход-уход лун и солнц, зато, обратное, восходное, действие вознаграждало и поражало наблюдателя. Мальчик играл на скрипке, уходя для этого в глубины парка, впадающего в лес, и однажды — в моей комнате, что сильнее повлияло на поющую птицу и прилетавшего к ней соловья. Небывалое трио звучало душераздирающе, и одна чувствительная слушательница разрыдалась под моим балконом. Мальчик жил во флигеле под легкомысленным присмотром моложавой, шаловливой, даже озорной прабабушки. Можно было подумать, что добрые феи, высоко превосходящие чином противоположные им устройства, вычли из ее возраста годы тюрем и лагерей, подумали — и еще вычли, уже в счет других приговоров, тоже им известных. Сама же она объясняла, что фабула ее жизни была столь кругосветна, что безошибочный циркуль вернул ее точно в то место времени, откуда ее взяли

в путешествии. «Не в главное путешествие, — утешала она меня, — я говорю о детстве. Я рано себя заметила. Я совсем была мала, но не «как сейчас вижу» — в сей час живу в счастье дня, которого мне на всю жизнь хватило. В то лето разросся, разбушевался жасмин, заполонил беседки, затмил окна, не пускал гостей в аллеи. Няня держит меня на руках и бранит жасмин: разбойник жасмин, неприятель жасмин, войском на нас нашел, ужо тебе, жасмин. А продираясь сквозь жасмин, к нам бежит девочка-мама и кричит: папа с фронта приехал в отпуск! он крест Святого Георгия получил! За ней идет прекрасно красивый отец, с солнцем в погонах, и целует усами мои башмачки. А вечером — съезд, пиршество, фейерверк и среди белых цветов жасмина — обрывки белых кружев. Ну, а дальше что было — известно. Только — если человек запасся таким днем, он и в смерти выживет и не допустит в сердце зла».

Сквозь шарик или в нем я живо видела тот счастливый день, может быть, его избыточного запаса и мне достанет — хотя бы для недопускания в сердце зла. Чудная картина июньского полдня внушала зябкую тревогу. Дама в белом платье с розой у атласного пояса, офицер в парадном мундире, добрый снеговик няньки, светлое дитя в батистовых оборках, белый жасмин, белые кружева. Как все бело, слишком бело, и какая-то непререкаемая смертельная белизна осеняет беззаботную группу, приближается к ней, готовится к прыжку из жасминовых зарослей. Ей противостоит неопределенный крылатый силуэт, бесплотный неуязвимый абрис — видимо, так окуляр шарика выглядел и выявил из незримости фигуру Любви. Дальше смотреть не хотелось, чтобы не допустить в сердце зла.

Очаровавшая меня прабабушка — может быть, в ней и упасла свою сохранность фигура Любви? — тоже дружила с шариком, он нежился и лучезарил в ее тонких руках. Однажды он огорчил ее, нарушив свойственную ему скрытность. Старая молодая дама печально молвила: «Да, это правда, и быть посему — быть худу. Влюблен мой правнук — вы знаете, я его прадедушкой дразню, — тяжело, скорбно влюблен, старым роковым способом».

Снежной королевой того жаркого лета была высокая взрослая девочка — всегда на роликах и с ракеткой. Длинные белые волосы — в прическе дисциплины, не позво-

лявшей им развеваться по ветру или клониться в сторону обеденного стола. Хладные многознающие глаза с прямым взглядом, не снисходящим к собеседнику. Когда она неспешно проносилась по выбоинам асфальта, страшно было за высокие амфоры ее ног, наполненные золотом виноградного сока. Кто-то предупредил ее об опасном месте, удобном для спотыкания или упадения. Она сурово успокоила доброжелателя: «Со мной этого не может быть». Заискивающая свита подружек звала ее Лизой, она не возражала: «Хоть горшком... Мое имя Элзе, но вам это не по силам». Говорили, что отец ее — норвежец, русская мать преуспевает в собственном компьютерном деле. Кто-то осмелился спросить ее об отце: правда ли, что он — норвежец, и не шкипер ли он? Она ответила: «Правда то, что меня в вашей русской капусте нашли». В честь этого обстоятельства она появилась на детском празднике в прозрачном туалете бабочки капустницы. Приставленная к ней гувернантка или приживалка укоризненно зашептала ей в ухо, и все услышали строгий ответ: «А вы видели когда-нибудь, чтобы бабочки носили зипун?» И тут же обратилась к прабабушке мальчика, искоса указав на него подбородком: «Меня — в капусте, а вот этого где удалось отыскать?» Дама кротко и доброжелательно ответила: «Его нашли в жасмине, это очень редкий случай». Ей нравилась девочка, она подозревала в ней трудное горячее сердце, крепко-накрепко запертое, как ларец с алмазом, и не ключом, а зашифрованным набором чисел и букв.

В теннис девочка играла одна, гнушаясь неравными партнерами, одному смелому претенденту отказала так: «Нет уж, вы играйте в свой шарик, а я — в свой».

Родителей капустной девочки и жасминного мальчика никто из живущих в доме никогда не видел, но в алмазном норвежестве девочки я не сомневалась. Для меня она была родом из Гамсуна, из его чар, из шхер, фиордов, скал и лесов. Безудержная гордыня фрекен Элзе не могла вволю глумиться над избранником ее пристальных насмешек: он избегал ее, вернее, сторонился с видимым равнодушием, но она его настигала: «Вашей сутулостью вы доказываете ваше усердие в умственных занятиях?» — «О нет, примите этот изъян за постоянный поклон вам», — кланялся мальчик. Или: «Я видела вас в беседке с тетрадкой. Вы пишете

стихи? О чем вы пишете?» — «Да, иногда, для собственного развлечения, сейчас — о звезде Бетельгейзе». Надменная фрекен Элзе тоже умела ошибаться: «Это — посвящение? Не стану благодарить, потому что рифма — примитивна». — «Как вы догадались? Рифма действительно крайне неудачна, искусственна, вот послушайте:

Плутает слух во благе вести:
донесся благовест из Рузы.
Но неусыпность Бетельгейзе
следит за совершенством грусти.
Доверься благовесту, странник,
не внемли зову Бетельгейзе:
не бойся, что тебя не станет,
в пыланье хладном обогрейся.
Какой затеял балетмейстер
над скудостью микрорайона
гастроль Тальони-Бетельгейзе
с кордебалетом Ориона?
Безынтересны, бестелесны,
сумеет ли без укоризны
последовать за Бетельгейзе
в посмертья нашего кулисы?»

— Какой ужасный ужас! — искренне возмутилась незарифмованная девочка. — Дайте мне эту гадость, я порву, чтобы и следа не осталось. — Пожалуйста, — с готовностью согласился сочинитель. — Только здесь ничего не написано, это само из воздуха взялось.

На листке бумаги не было никаких букв, но присутствовало изображение шарика с его разновеликими зрачками и отраженными в нем разнообразными зрачками мальчика. — Так я и знала! — еще пуще прогневалась девочка. — Вы не из воздуха, а из вашего шарика все эти вздоры берете. Пусть он волшебный, но вашему одиночеству он вместо собаки. Тогда назвали бы: Полкан. Нет — Орион. «Орион, к ноге!» — в вашем захудалом микрорайоне это бы пышно звучало. — Собаку я люблю, — последовал задумчивый вздох. — Собаки это не касается, а ваше бутафорское мироздание — разрываю и распускаю.

Нарисованные миры врозь покинули нарисованное здание стеклянной темницы-светлицы и на крыльях бумажных клочков разлетелись по сквозняку вселенной, отчасти обитающей и в наших скромных угодах. Бутафорский хаос распада все же производил небольшое зловещее впечатление.

— Дайте мне ваши очки, — приказала разрушительница миров и сердец.

— Но зачем? Вы в них ничего не увидите, — сказал мальчик, покорно обнажая затрудненный восход близоруких светил, умеющих смотреть в свой исток, в изначальную глубь обширного исподлобного пространства. Девочка надела очки, странно украсившие ее русалочье лицо, — словно она из озера глядела.

— Для этого и прошу. Вот теперь хорошо: какое удовольствие вас не видеть. Надо бы заказать такие, если у оптики найдется столько диоптрий — не все же мне отдать. Впрочем, я и так вас больше не увижу: завтра мы с тетушкой уезжаем. Так что — постарайтесь не поминать лихом.

Она протянула мальчику руку, и он взросло склонился к ней похолодевшими губами:

— Прощайте.

Засим ролики фрекен Бетельгейзе удалились.

Вскоре собрались к отъезду прабабушка и правнук и зашли попрощаться со мной, шариком и поющей птицей — навещавший ее соловей отсутствовал. В темном дорожном платьице разминувшаяся с возрастом прабабушка смотрелась совсем барышней, но, при свете гераневого балкона, видно было, какую горечь глаз нажила, намыкала она данной ей долгой жизнью, возбранив себе утеху слез, жалоб и притязаний. Она застенчиво протянула мне засушенную веточку жасмина: «Преподнесите и этот цветок стихотворению Пушкина «Цветок», я это ваше обыкновение невольно заметила». У «Цветка», в моих и во многих книгах, много уже было преподнесенных мной цветков, и я часто наугад вкладывала лепестки меж других страниц, перечитывая их, с волнением принимая их понимающую усмешливую взаимность. Жасмин я бережно положила по назначению — том привычно открывался в должном цветочном месте.

Опасаясь обременить ее тяжестью горшка, я заведомо приготовила для нее сильный отросток герани, уже прице-

ливший корни к новому питательному обиталищу. Она радостно смеялась, умерив горемычность глаз: «Представьте: как раз горшок у меня есть, а теперь и растение есть, такое совпадение — роскошь». Мальчик и шарик сдержанно прощально переглянулись. (Мне не однажды доводилось раздавать заповедные предметы, как бы следуя их наущению и устремлению, но искушение дарить на шарик никак не распространялось, даже приблизительная мысль об этом суеверно-опасна.)

Увеличив свободу и прилежность моих и шарика занятий, школьные каникулы кончились. С этой фразы начинаются каникулы воображаемого читателя. Ведь он мог боязливо предположить, что занесшийся автор пустился писать роман, и предлинный: о прабабушке и о мальчике, о напряженной дрожи многоточия меж ними, о пунктире острого электричества, не известного Эдисону, неодолимо соединяющему и уязвляющему сердца. Но нет, эта заманчивая громоздкость не обрушится ни на чью голову, а останется в моей голове — подобно отростку герани, пустившему корни в стакане воды.

Пора приступить к началу и признаться, что произошло на самом деле. Некоторое время назад я сидела за столом, имея невинное намерение описать мой шарик, чья объявленная волшебность не содействовала мне, а откровенно противоборствовала. Врасплох зазвонил телефон, и определенно милый (это важно) женский голос попросил меня о встрече, об ответе на несколько вопросов обо мне, о моей жизни. Неподалеку лежали два недавних интервью, вполне достоверных и доброкачественных, но я еще не очнулась от необоримой скуки их прочтения. Ни за что не соглашусь, — бесполезно твердо подумала я. Но голос был такой милый, испуганный, уж не подозревал ли он меня в злодейской надменности, в чопорной тупости? А я — вот она: усталый человек, сидящий на кухне, печально озирающий стеклянный шарик. Таким образом, один ответ уже был, может быть, и другие откуда-нибудь возьмутся, хотя бы из этой усталости, не пуста же она внутри. И я сказала сотруднице журнала:

— Приходите.

Она и сама была милая, робкая, доверчивая, со свежими снежинками, еще не растаявшими на беззащитной шапочке.

Этой небойкой пригожести, несмелой доброжелательности, этим снежинкам — не выходило отказать. Ее кроткое вопросительное вмешательство в мое сидение на кухне походило на ласковое сочувствие, а не на докучливое любопытство. Мы невнятно сговорились, что я отвечу на вопросы, не изъясненные, не заданные впрямую, отсутствующие. С этим обещанием, как с удачей, она отправилась в свой путь по зимнему дню, может быть дальний и нелегкий.

Опять мы остались один на один с шариком и как бы в сходных, если не равных положениях. Сторонние обстоятельства понуждали нас разомкнуть дрему охранительных ресниц, обнажить устье зрачков, берущих исток во взгорбьях темени, — приглашали задумчивый моллюск на бал погостить на блюде устриц. Втайне я полагалась на участливую подсказку шарика. То, что он имеет врожденные и вмененные ему предсказательные способности, как оказалось, известно не только мне.

Есть брат у шарика. Он — царствен.
Сосуд пророческого шара
в театре, в городке швейцарском
я видела в руке Бежара.

В дырявом одеянье длинном,
дитя умершее качая,
он Лиром был, и слезы лил он,
и не было слезам скончанья.

Сбывались предсказанья шара,
воображенье поражая,
и было нестерпимо жалко
весь мир, и Лира, и Бежара.

Но я запомнила, как шел он,
отдав судьбе ее трофеи:
в лохмотьях, бывших властным шелком,
труд тела — краткость и терпенье.

Не мук терпенье, не позора —
мышц терпеливая находка:

не оступиться в след повтора,
всяк шаг — добыча и охота.

Так поступь старого гепарда
тиха, он — выжиданья сгусток,
и тетива спины — горбата,
вобравшая прыжка поступок.

Что нищая подет корона,
не внове ль зала обожанью?
Кровь творчества — высокородна:
смысл шара, ведомый Бежару...

Да, снежной зимой, в Лозанне, Борис и я видели балетную постановку «Короля Лиры» — дерзкую и целомудренную. Уединенность театра казалась преднамеренно отшельной, не зазывной, не отверсто-доступной. Его аскетичные тенистые своды возвышали зрителей переполненного зала до важной роли избранников, соучастников таинственного действия. В премьерном спектакле Лиром был сам Бежар. Его отрешенное лицо не объявляло, не предъявляло силы чувств — только блики, отсветы, сумерки зашифрованных намеков составляли выражение упования или скорби. Его сдержанные, расчетливо малые, цепкие движения словно хищно гнались за совершенством краха, не экономя страсть всего существа, а расточая ее на благородную потаенность трагедии. В правой руке он держал мутно мерцающий стеклянный объем темнот и вспышек, явно предвидящий и направляющий мрачный ход событий. Это был величественный, большой и старший, пусть косвенный, но несомненный сородич моего шарика. Это меня так поразило и отдалило от прочей несведущей публики, как если бы я оказалась забытой в глуши дальней свойственницей Короля Лиры и свежими силами моего молодого шарика все еще можно было поправить. Моя ревность была уверена (может быть, справедливо), что этот округлый роковой персонаж и труппа, и зрители, если замечают, принимают за декоративную пустышку, за царственную прихоть Бежара. Я еле дождала до разгадки. Один просвещенный господин объяснил мне, что подобные изделия издревле водились в разных странах и название их, в переводе с французского, означает

именно то, что я сама придумала: магический, предсказующий, гадательный. Так что не зря я в мой шарик «как в воду глядела» и теперь гляжу.

Из всего этого следует, что поверхность моей жизни всегда обитала на виду у множества людей, без утайки подлежа их вниманию и обзору. Но не в этом же дело. Главная, основная моя жизнь происходила и поныне действует внутри меня и подлежит только художественному разглашению. Малую часть этой жизни я с доверием и любовью довожу до сведения читателей — как посвящение и признание, как скромное подношение, что равняется итогу и смыслу всякого творческого существования.

Конечно, я не гадаю по моему шарiku, не жду от него предсказаний. Просто он — близкий сосед моего воображения, потакающий ему, побуждающий его бодрствовать.

Все судьбы и события, существа и вещества достойны пристального интереса и отображения. И, разумеется, все добрые люди равно достойны заботливого привета и пожелания радости — вот, примите их, пожалуйста.

О чем стекла родитель думал?
Предзнал ли схимник и алхимик,
что мир, возвращенный стеклодувом,
ладонь, как целый мир, обнимет?

Ребенок обнимает шарик:
миров стеклянность и стократность —
и думает, что защищает
их беззащитную сохранность.

Стекло — молчун, вещун, астролог
повелевает быть легенде.
Но почему о Лире скорбном?
Но почему о Бетельгейзе?

Не снизойдет ученый шарик
до простоумного ответа.
Есть выбор: он в себя вмещает
любовь, печаль, герани лета.

Он понукает к измышленьям
тот лоб, что лбу его собратен.
Лесов иль кухни ты отшельник,
сиятелен твой сострадатель.

Февраль 1997

СОДЕРЖАНИЕ

Поездка в город	5
19 октября 1996 года	9
«Согласьем розных одиночеств...»	12
Городской пейзаж	15
Изгнание Ёлки	16
Видение розы	19
Наслаждения в Куоккале	25
Недуг	39
Надпись на книге	47
Созерцание стеклянного шарика	48

В поэтической серии «Автограф», издаваемой «Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:

1. **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
2. **В. Салимон.** Невеселое солнце
3. **И. Лиснянская.** После всего
4. **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
5. **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
6. **Н. Кононов.** Лепет
7. **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
8. **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
9. **С. Гандлевский.** Праздник
10. **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
11. **В. Дроздов.** Стихотворения
12. **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
13. **А. Цветков.** Стихотворения
14. **Д. Новиков.** Караоке
15. **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
16. **Т. Кибиров.** Парафразис
17. **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
18. **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24

факс: (812) 273-52-56

А 95

Ахмадулина Б.

Созерцание стеклянного шарика: Новые стихотворения. —
СПб.: Пушкинский фонд, 1997. — 64 с.

ISBN 5-85767-107-8

ББК 84. Р7

Ахмадулина Белла Ахатовна

Созерцание стеклянного шарика

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1997

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 030448 от 10 ноября 1992 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 31.03.97 г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.

Усл. п.л. 4. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Зак.№ 89.



Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии "Полиграфический центр"
190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6
тел./факс 812 315 3310

